

Паровоз мудро устроен, но он этого не сознает, и какая цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста?

О. Митрофан Сребрянский

БРАМА

Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната, обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная — покрытый резными звездами зеркальный шкаф, причудливый секретер, два полотна с обнаженной натурой и маленькая картина с конным Наполеоном в боевом дыму. Одну стену занимала доходящая до потолка картотека из карельской березы, очень изысканного вида. На ее ящичках были таблички с разноцветными надписями и значками, а рядом стояла лестница-стремянка.

Я понял, что не лежу, как полагается пришедшему в сознание человеку, а стою. Я не падал, потому что мои руки и ноги были крепко привязаны к шведской стенке. Я догадался, что это шведская стенка, нащупав пальцами деревянную перекладину. Другие перекладины упирались мне в спину.

Напротив, на маленьком красном диване у стены, сидел человек в красном халате и черной маске. Маска напоминала своей формой не то нахлобученный до плеч цилиндр, не то картонный шлем пса-рыцаря из фильма «Ледовое побоище». В районе носа был острый выступ, на месте глаз — две овальных дыры,

а в области рта — прямоугольный вырез, прикрытый черной тряпочкой. Примерно так выглядели средневековые доктора на гравюрах, изображавших чуму в Европе.

Я даже не испугался.

— Добрый день, — сказал человек в маске.

— Здравствуйте, — ответил я, с трудом разлепив губы.

— Как тебя зовут?

— Роман, — сказал я.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Почему не в армии?

Я не стал отвечать на вопрос, решив, что это шутка.

— Я прошу прощения за некоторую театральность ситуации, — продолжал человек в маске. — Если у тебя болит голова, сейчас все пройдет. Я усыпил тебя специальным газом.

— Каким газом?

— Который применяют против террористов. Ничего страшного, все уже позади. Предупреждаю — не кричать. Кричать смысла нет. Это не поможет. Результат будет один — у меня начнется мигрень, и беседа будет испорчена.

У незнакомца был уверенный низкий голос. Закрывавшая рот тряпочка на его маске колыхалась, когда он говорил.

— Кто вы такой?

— Меня зовут Брама.

— А почему на вас маска?

— По многим причинам, — сказал Брама. — Но это в твою пользу. Если наши отношения не сложат-

ся, я смогу отпустить тебя без опаски, потому что ты не будешь знать, как я выгляжу.

Я испытал большое облегчение, услышав, что меня собираются отпустить. Но эти слова могли быть уловкой.

— Что вы хотите? — спросил я.

— Я хочу, чтобы в одной очень важной части моего тела и одновременно моего духа проснулся к тебе живой интерес. Но это, видишь ли, может произойти только в том случае, если ты человек благородного аристократического рода...

«Маньяк, — подумал я. — Главное — не нервничать... Отвлекать его разговором...»

— Почему обязательно благородного аристократического рода?

— Качество красной жидкости в твоих венах играет большую роль. Шанс невелик.

— А что значит живой интерес? — спросил я. — Имеется в виду, пока я еще жив?

— Смешно, — сказал Брама. — Скорее всего, словами я здесь ничего не добьюсь. Нужна демонстрация.

Встав с дивана, он подошел ко мне, откинул закрывавшую рот черную тряпку и наклонился к моему правому уху. Почувствовав чужое дыхание на своем лице, я сжался — вот-вот должно было случиться что-то омерзительное.

«Сам в гости пришел, — подумал я. — Надо же было, а?»

Но ничего не произошло — подышав мне в ухо, Брама отвернулся и пошел назад на диван.

— Можно было укусить тебя в руку, — сказал

он. — Но руки у тебя, к сожалению, связаны и затекли. Поэтому эффект был бы не тот.

— Вы же мне руки и связали.

— Да, — вздохнул Брама. — Я, наверно, должен извиниться за свои действия — догадываюсь, что выглядят они довольно странно и скверно. Но сейчас тебе все станет ясно.

Устроившись на диване, он уставился на меня, словно я был картинкой в телевизоре, и несколько секунд изучал, изредка причмокивая языком.

— Не волнуйся, — сказал он, — я не сексуальный маньяк. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— А кто же вы?

— Я вампир. А вампиры не бывают извращенцами. Иногда они выдают себя за извращенцев. Но у них совершенно другие интересы и цели.

«Нет, это не извращенец, — подумал я. — Это сумасшедший извращенец. Надо постоянно говорить, чтобы отвлекать его...»

— Вампир? Вы кровь пьете?

— Не то чтобы стаканами, — ответил Брама, — и не то чтобы на этом строилась моя самоидентификация... Но бывает и такое.

— А зачем вы ее пьете?

— Это лучший способ познакомиться с человеком.

— Как это?

Глаза в овальных дырах маски несколько раз моргнули, и рот под черной тряпочкой сказал:

— Когда-то два росших на стене дерева, лимонное и апельсиновое, были не просто деревьями, а воротами в волшебный и таинственный мир. А потом что-то случилось. Ворота исчезли, а вместо них остались

просто два прямоугольных куска материи, висящих на стене. Исчезли не только ворота, но и мир, куда они вели. И даже страшная летающая собака, которая сторожила вход в этот мир, стала просто плетеным веером с тропического курорта...

Сказать, что я был поражен — значит ничего не сказать. Я был оглушен. Эти слова, которые показались бы любому нормальному человеку полной абракадаброй, были секретным кодом моего детства. Самым поразительным было то, что сформулировать все подобным образом мог только один человек во всем мире — я сам. Я долго молчал. Потом не выдержал.

— Я не понимаю, — сказал я. — Допустим, я мог рассказать про картины, когда был без сознания. Но ведь про этот волшебный мир за воротами, я рассказать не мог. Потому что я никогда его так не называл. Хотя сейчас вы сказали, и я вижу, что все это чистая правда, да. Так и было...

— А знаешь, почему все так произошло? — спросил Брама.

— Почему?

— Волшебный мир, где ты жил раньше, придумывал прятавшийся в траве кузнечик. А потом пришла лягушка, которая его съела. И тебе сразу нигде стало жить, хотя в твоей комнате все осталось прежнему.

— Да, — сказал я растерянно. — И это тоже правда... Очень точно сказано.

— Вспомни какую-нибудь вещь, — сказал Брама, — про которую знаешь только ты. Любую. И за-

дай мне вопрос — такой, ответ на который знаешь тоже только ты.

— Хорошо, — сказал я и задумался. — Ну вот, например... У меня дома на стене висел веер — вы про него только что говорили. Каким образом он был прикреплен к стене?

Брама прикрыл глаза в прорезях маски.

— Приклеен. А клей был намазан буквой «Х». Причем это не просто крестик, это именно буква «Х». Имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила веер над кроватью.

— Как...

Брама поднял ладонь.

— Подожди. А приклеил ты его потому, что веер стал казаться тебе собакой-вампиром, которая кусает тебя по ночам. Это, конечно, полнейшая ерунда. И даже оскорбительно по отношению к настоящим вампирам.

— Как вы это узнали?

Брама встал с дивана и подошел ко мне. Пальцем откинув черную тряпочку, он открыл рот. У него были темные прокуренные зубы — крепкие и крупные. Я не увидел ничего необычного, только клыки, пожалуй, были чуть белее, чем остальные зубы. Брама поднял голову так, чтобы я увидел его небо. Там была какая-то странная волнистая мембрана оранжевого цвета — словно прилипший к десне фрагмент стоматологического моста.

— Что это? — спросил я.

— Там *язык*, — сказал Брама, выделив это слово интонацией.

— Язык? — повторил я.

— Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира.

— Им вы все узнаете?

— Да.

— А как можно узнавать языком?

— Объяснять бесполезно. Если ты хочешь понять это, тебе надо стать вампиром самому.

— Я не уверен, что мне этого хочется.

Брама вернулся на свой диван.

— Видишь ли, Рома, — сказал он, — всеми нами управляет судьба. Ты пришел сюда сам. А у меня очень мало времени.

— Вы собираетесь меня учить?

— Не я. Учителем выступает не личность вампира, а его природа. А обучение заключается в том, что вампир кусает ученика. Но это не значит, что любой человек, которого укусит вампир, становится вампиром. Как говорят в плохих фильмах, хе-хе, такое бывает только в плохих фильмах...

Он засмеялся собственной шутке. Я попытался улыбнуться, но это получилось плохо.

— Существует особый укус, — продолжал он, — на который вампир способен только раз в жизни. И только в том случае, если захочет язык. По традиции, это происходит в день летнего солнцестояния. Ты подходишь. Мой язык перейдет в тебя.

— Как это — перейдет?

— В прямом смысле. Физически. Хочу предупредить, что будет больно. И сразу, и потом. Ты будешь плохо себя чувствовать. Как после укуса ядовитой змеи. Но постепенно все пройдет.

— А вы не можете найти себе другого ученика?

Он не обратил на эти слова внимания.

— Ты можешь на время потерять сознание. Твое тело одеревенеет. Возможно, будут галлюцинации. Их, впрочем, может и не быть. Но одна вещь произойдет обязательно.

— Какая?

— Ты вспомнишь всю свою жизнь. Язык будет знакомиться с твоим прошлым — он должен знать о тебе все. Говорят, нечто похожее бывает, когда человек тонет. Но ты еще совсем молод, и тонуть будешь недолго.

— А что в это время будете делать вы?

Брама как-то странно хмыкнул.

— Не волнуйся. У меня есть тщательно продуманный план действий.

С этими словами он шагнул ко мне, схватил меня рукой за волосы и пригнул мою голову к плечу. Я ожидал, что он укусит меня, но вместо этого он укусил сам себя — за палец. Его кисть сразу залило кровью.

— Не шевелись, — сказал он, — тебе же будет лучше.

Вид крови напугал меня, и я подчинился. Он поднес окровавленный палец к моему лбу и что-то написал на нем. А затем безо всякого предупреждения впился зубами мне в шею.

Я закричал, вернее, замычал — он держал мою голову так, что я не мог открыть рта. Боль в шее была невыносимой — словно сумасшедший зубной врач вонзил мне под челюсть свое электрическое сверло. Была секунда, когда я решил, что пришла смерть, и смирился с нею. И вдруг все кончилось — он отпус-

тил меня и отскочил. Я чувствовал на своей щеке и шее кровь; ею была измазана его маска и тряпка, закрывавшая рот.

Я понял, что это не моя кровь, а его собственная — она текла из его рта по шее, по груди, по его красному халату, и густыми каплями падала на пол. С ним что-то случилось — можно было подумать, искусали не меня, а его. Шатаясь, он вернулся на свой красный диван, сел на него, и его ноги быстро заелозили взад-вперед по паркету.

Я вспомнил фильм Тарковского «Андрей Рублев», где показывали старинную казнь — монаху заливали в рот расплавленный металл. Все время перед экзекуцией монах страшно ругал своих палачей, но после того как они влили металл ему в глотку, не произнес больше ни слова, и только дергался всем телом. Страшнее всего было именно его молчание. Таким же страшным показалось мне молчание моего собеседника.

Не переставая дрыгать ногами, он сунул руку в карман халата, достал маленький никелированный пистолет и быстро выстрелил себе в голову — в бок цилиндрической маски, скрывавшей его лицо. Его голова качнулась из стороны в сторону, рука с пистолетом упала на диван, и он замер.

Тут я почувствовал в своей шее, под челюстью, какое-то слабое движение. Больно не было — словно мне вкололи анестезию, — но было жутко. Я уже терял сознание, и происходящее ощущалось все слабее. Меня неудержимо клонило в сон.

Брама сказал правду. Мне стало грезиться прошлое — словно в голове обнаружился маленький

уютный кинозал, где начался просмотр документального фильма про мое детство. Как странно, думал я, ведь с самого начала я боялся именно вампиров...

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме профкома драматургов у метро «Сокол». Дом был высшей советской категории — из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты — вокруг всегда было много черных «Волг» с мигалками, а на лестничных клетках в изобилии встречались окурки от лучших американских сигарет. Мы с матерью занимали небольшую двухкомнатную квартирку вроде тех, что в закатных странах называют «one bedroom».

В этой самой bedroom я и вырос. Моя комната задумывалась архитектором как спальня — она была маленькой и продолговатой, с крохотным окном, из которого открывался вид на автостоянку. Я не мог обустроить ее по своему вкусу: мать выбирала расцветку обоев, решала, где должна стоять кровать, а где стол, и даже определяла, что будет висеть на стенах. Это приводило к скандалам — однажды я обозвал ее «маленькой советской властью», после чего мы не говорили целую неделю.

Обиднее этих слов для нее невозможно было придумать. Моя мать, «высокая худая женщина с увядшим лицом», как однажды описал ее участковому сосед-драматург, когда-то принадлежала к диссидентским кругам. В память об этом гостям часто про-

кручивалась магнитофонная пленка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а ее голос подавал острые реплики с заднего плана.

Баритон декламировал:

Ты в метро опускаешь пятак,
Двое в штатском идут по пятам.
Ты за водкой стоишь в гастроном,
Двое в штатском стоят за углом...

— А это прочти, про хуй с бровями и Солженицына! — вставляла молодым голосом мать.

Так я впервые услышал матерное слово, которое благополучные дети перестроечной поры обычно узнавали от хихикающих соседей по детсадовской спальне. Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово «контекст» было для меня даже загадочнее слова «хуй» — за всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал под дувшим из телевизора ветром перемен.

Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения; подразумевалось, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которое и увенчалось моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнем мое детство, была, кажется, так и не замечена впавшим в маразм советским режимом.

Справа от моей кровати стену украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера (сорок сантиметров в ширину, пятьдесят в высоту —

первое, что я измерил линейкой из набора «подарок первокласснику»). Одна изображала лимонное дерево в кадке, другая — такое же апельсиновое. Различались только цвет и форма плодов: вытянутые желтые и круглые оранжевые.

А прямо над кроватью висел плетеный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка, из-за которой веер казался похожим на гигантскую летучую мышь с маленькой головкой. В центре он был подкрашен красным лаком.

Мне казалось, что это летающая собака-вампир (я читал о таких в журнале «Вокруг Света»), которая оживает по ночам, а днем отдыхает на стене. Выпитая кровь просвечивала сквозь ее кожу, как сквозь брюшко комара, поэтому в центре веера было красное пятно.

Кровь, как я догадывался, была моя.

Я понимал, что эти страхи — эхо историй, которых я наслушался в летних лагерях (из смены в смену они повторялись без изменений). Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. Под конец дошло до того, что я стал бояться темноты — присутствие распластавшейся на стене собаки-вампира было физически ощутимо, и следовало включить свет, чтобы заставить ее снова стать веером из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно. Поэтому я ограничился тем, что втайне от нее приклеил веер к обоям клеем «Момент». Тогда страх прошел.

Свою первую схему мироздания я тоже вывез из

летних лагерей. В одном из них я видел удивительную фреску: плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов веселый красный трамвай. На торце земного диска было написано «СССР». Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамваи остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла... Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирялся с сотнями других. Тем более что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать: страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием по безработице, не могла кончить иначе.

Но это были зыбкие тени детства.

По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм: на экране маршировала колонна коротышек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, коротышки пели:

Но вот пришла лягушка
Зеленькое брюшко,
Зеленькое брюшко,
И съела кузнеца.
Не думал не гадал он,
Никак не ожидал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца...

Я сразу понял, о каком кузнеце речь: это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Веселые коротышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего Солнечного города, дорогу в который люди так и не смогли найти.

Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не помнил. Коротышки маршировали среди огромных, в полтора роста, цветов-колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чем-то простом и самом главном — и уже забытом мною.

Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, а счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, навсегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнецик, и было件нятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой — чем дальше, тем конкретней...

У нее действительно было зелененькое брюшко, а спинка была черной, и на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый *обменный пункт*. Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка — а кузнеца будет уже не вернуть...

Кроме коротышек из мультфильма, никто толком не попрощался с несуразной страной, в которой я родился. Даже три кита, на которых она держалась, сделали вид, что они тут ни при чем, и открыли мебельный магазин (их рекламу крутили по телевизору — «есть три кита, три кита — все остальное суета...»).

Про историю своей семьи я не знал ничего. Но некоторые из окружавших меня предметов несли на себе печать чего-то мрачно-загадочного.

Во-первых, это был старинный черно-белый эстамп, изображавший женщину-львицу с томно запрокинутым лицом, обнаженной грудью и мощными когтистыми лапами. Эстамп висел в коридоре, под похожей на лампадку лампочкой-миньоном. Лампадка давала мало света, и в полутьме изображение казалось магическим и страшным.

Я предполагал, что подобное существо ждет людей за «гробовым порогом». Это выражение, которое часто повторяла мать, я затвердил раньше, чем стал понимать его смысл (такой сложной абстракции, как прекращение существования, я не мог себе представить: мне казалось, что смерть — просто переезд в места, куда ведет тропинка между лапами сфинкса).

Другим посланием из прошлого были серебряные ножи и вилки с гербом: луком со стрелой и тремя летящими журавлями. Я нашел их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ.

Отругав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквинкель. Из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной — Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией — обычная социальная маскировка времен военного коммунизма.

Отец ушел из семьи сразу после моего рождения; никакой другой информации о нем мне не удавалось получить, как я ни старался. Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и